

Василий Аксенов

Ф А Н Ч И К

А я говорю: Петр Сакса и Илмарь Пусса, два, под матку ростом и будто бы еще сродни меж собой, рыжих финна, некогда доставленные в Ялань веселыми русскими сквозняками, ловко, конечно, расправлялись с любой скотиной, бывало даже обувь не запачкают, но как тот, так и другой — по недугу или по иной какой причине? — оба гнушались спиртным, а за работу свою предпочитали получать — и Бог, разумеется, им в этом судья — деньгами, а — как знающие рукам своим цену — сумму заламывали немалую, но и — как люди с умом — не сногшибательную, так что, я как думаю, хочешь — нанимай, а коли охоты нет — сам забивай и освежывай или, в конце-концов, другого кого ищи, тут дело такое: никто тебя не приневоливает, силой заставляя тебя никто не станет. Ну, а...

Ну, а я говорю: те, конечно, кто денег не поднакопил или поднакопил достаточно, да скуп на них был, те так, ~~еще~~ конечно, и поступали — те сами живность свою кололи и сами, уж как могли, разделявали, ну а тому, кто колоть не горазд и деньгами лишними не располагает, тому, конечно, одно — ищи кого другого помимо Петра да Илмаря, подешевле чтоб. Хотя, по правде-то если, там и искать заботы не было, там вроде как уж найдено было. В Ялани же — жаль, что вы в ней не бывали — в Ялани же жил и, так я выражусь, практиковал еще один мастер кровавого ремесла — Верещагин Иван Тимофеевич. Но так только для вас вот да где для документа какого, а в жизни устной никто Ивана Тимофеевича по имени да по отчеству и не величал, разве что по фамилии когда: Верещагин. Ну, а...

Ну, а я говорю: прозвище у него было такое: Фанчик. А почему Фанчик и что это такое — Фанчик, и знать не знаю. Так, в детстве, наверное, кто-то прилепил и присохло, а нынче уж и забылось, нынче уж и тот, кто придумал да нарек, и тот, кто знал, наверное, померли, а не померли, так за-памятовали по ненадобности. Тут так: не знаю я точно, почему Фанчик? Правда, сам Фанчик, если спросить у него, гово-

рит, будто в его малолетство в соседях у них столетняя эстонка Эльга жила, которая вместо Ванечка выговаривала: Фанчка. Оттуда будто и пошло. Ну и вот, денег со своих нанIMATEлей Фанчик не требовал, — отказываться-то, разумеется, не отказывался, если предлагали, — а брал натуральным продуктом: свежиной — тут что и сколько хозяин или хозяйка не жалели, и хмельным, а здесь сколько сдуживал. Ну, а...

Нет, нет, — я говорю, — спору, раздоров ли каких из-за клиентов у Петра да Илмаря с Фанчиком не было и, я как думаю, быть не могло, так что при встречах финны шапки дружелюбно приподнимали, а Фанчик, тот щеки поджимал к глазам, морщинками, получившимися при этом, улыбался и говорил: вот, чухна, мать вашу, — но так, разборчиво, это я вам передаю, а на самом деле, чтобы понять что-нибудь, Фанчика по десять раз переспрашивать надо. Ну, а...

А я говорю: у Фанчика в тридцать девятом году свинцовой из белофинского пулемета была снесена треть нижней челюсти с передними зубами, и поэтому говорил он невнятно, чуть лучше картавого, шепелявого и глухонемого вместе взятых. И поэтому, когда он, Фанчик, подсунув под челюстную верхнюю губу стакан, подпихнув ли устье бутылки или иную какую посудину, начинал, тиская кадыком, пить, то сотрапезники или зрители, рядом случившиеся, пытались отвести взгляд от будто вдавленного внутрь и измятого полуподбородка, но не могли: половина, никак не меньше, утекала по заросшему седой, вроде как развернутой ветром отавой, щетиной горлу за свободный — не от своего размера, а от удобы владельца — и наглухо застегнутый воротник гимнастерки яланского, частного пошива. И совет или передаст неверный слух сказавший, будто он сам или кто другой видел хоть раз, как Фанчик пытался перехватить ладонью убегающую на грудь струю. Не было такого. И что-то сбивает меня на мысль, что-то к мысли этой меня подталкивает, будто не от веса, не от качества и не от количества выпитого пьянел старый Фанчик, а от чего-то другого, а потому и не дорожил хмельным, не трясся над каплей. Но от чего пьянел старый Фанчик? — тут и мне загадка. Может быть, от бьющего в ноздри запаха? Мо-

жет быть. Может быть, оттого, как запрокидывал при этом голову? Может быть. Ну, а...

Ну, а я говорю, что летом Фанчик удил рыбу, зимой делал лопаты и пехла, мастерил санки, продавал все это — тем и жил. А по весне огребал от снега крыши вдовьих домов. Это в последней трети октября и в первых числах ноября, перед праздниками, когда начинался забой скота, он, Фанчик, оставлял все, обо всем забывал и посвящал душу и тело и все силы своим занятию, без которого себя уж и не мыслил, не ощущал, так что и сны-то его этим временем бывали заполнены одними перерезанными горлами, родниками хлещущей из них крови и вытаращенными, зароговевшими в безумии и страхе глазами издыхающих. Снились, наверное, Фанчику и тихая рыбная ловля с беспокойным на воде поплавком, и лопаты да пехла, и санки, и стружки обстругиваемого дерева, снились, наверное, ему и жена и мать, грезились, может быть, и дикие цветы и птицы, и чьи-то кудри и руки чьи-то, но все это выветривалось из памяти, как только он просыпался. А этот сон — словно небо в тихой заводи, словно явь в зеркале: вот он подступает к животному, гладит нежно его по шее или чешет ему бок, шепчет вкрадчиво ласковое, затем хватает левой рукой за ухо или за рог, а правой — скрытым в рукаве и жестом мошенника или урки вызволенным оттуда ножом перерезает горло. Это уж потом, несколько секунд спустя, он, Фанчик, подставляет свой, отцом наследованный, медный ковш, наполняет его до краев и пьет. А после... после немеет от ужаса и просыпается в холодной испарине. Ну, а...

Да, да, мать была у Фанчика — это несомненно, но была у Фанчика когда-то и жена, из местных, из яланских, сосватанная девушка. А летом, то ли сорок седьмого, то ли сорок восьмого года, боюсь тут соврать, она ушла в лес и не вернулась. Имелась, все подтвердили, водилась за нею манера такая: ходить в лес одной, — даже самому яланскому участковому Павлу Истомину было об этом известно. На третьи сутки стали искать. Искали все, кто мог, искали с собаками. И вот, собаки привели к топи, уткнулись в нее и давай скулить, а по какому поводу — не то по утопшей, не то бездну вообразив

и устранившись? — пойми попробуй. Правда, там же, возле трясин, один глазастый пацан заметил на суку валежины лоскут зеленый с оранжевым ситцы, но было ли у нее, у жены Фанчика, платье такой расцветки, не было ли, никто толком не знал. А у Фанчика спросили, так тот только распахался, а что сказал при этом, разобравших не оказалось: то ли да, то ли нет, то ли что-то совсем по другому поводу. Это уж потом, когда бежавший от облавы в тайге дезертир в дык Истомину из охотничьего ружья две пули всадили, когда едва живого Истомина в Ялань принесли, а часом позже полумертвого в Бородавчанск отправляли, то он, Фанчик, один из яланцев не пришел с ним, с односельчанином, попрощаться, так как уверен был, нутром чувствовал, что повторит, обязательно повторит тот некогда во хмелю сказанное: ох, Верецагин, не знаю, не знаю, почему я не пришел тогда к тебе сразу в дом? А не пришел Истомин, покойничек, потому, что и без того, без Фанчика с его пропавшей женой, лихая пора была. Ну, а...

Ну, а я говорю: году в пятьдесят втором появилась в домишке Фанчика другая женщина, применимо к Фанчику возраста половинного, родины нездешней, и не одинокая, а с мальчонкой на руках лет трех отроду. Отнимовала женщина, отлетовала, а осенью, перед ноябрьскими дня за два, ни с того ни с сего, слухам-то если верить, уехала вдруг, а мальчика Фанчику завещала. И, Фанчика кроме, конечно, никому не известно, рад остался он, Фанчик, этому завещанию или не рад? Ну, а...

Ну, а я говорю: время шло. И тут так: для времени это, может быть, и велика перемена, ну а для Ялани мало что изменилось, то разве только, что вместо Павла Истомина, жизнь которому дезертир пресек, участковым стал Истомин Николай, родной брат покойного, да школу какой-то варнак шальной спалил, да кое-кто умер, родился кое-кто, да новых бараков щитовых с десятков построили, да в МТС над гаражом, где допредь церковь была, на куполе, большую красной материи на реечном каркасе и лампочками изнутри выдушевленную, звезду к Седьмому уж который год приносовились устанавливать. Да вот еще: у Фанчика малец подрос, как стебелек ते-невой, вытянулся, хотя для Фанчика-то вроде как не ощутимо,

не осязаемо — свое, на глазах, будто ресница, незаметно, это у чужих — как грибы. А мальцу лет семь к Рождеству исполнится, угрюмый малец, редкословный да малоречивый, к людям без радости, а у людей мальцу имя одно: Сын Фанчика. И у него, у Сына Фанчика, в затылочной голове о мире свое уже суждение, представление уже свое уплотняется. Ну то, например, что все милиционеры — Истоминны, что Истомин и милиционер — это одно и то же, для Сына Фанчика уже дело ясное, ясное дело для него и то, что коли смятый внутрь подбородок, значит — Фанчик, раз Фанчик, значит — такая челюсть и никакой другой.. И еще: если взглянул однажды в окно и узрел в тучевой черноте неба огромную красную звезду, тут тебе вскоре и повальный забой скота, а если осень морозцем ткнет прежде, то поглядывай из окна и ожидай — вот, вот, и вспыхнет скоро там, над темным куполом, красиво багряным. И уж тогда давнет легонько в окно и в сердце канун праздника. И тут так: звезда и забой для Сына Фанчика как знамения друг для друга, а то и другое — как предвестие праздника. Ну, а...

Ну, а я говорю: отчим, забой и звезда представлялись Сыну Фанчика самыми толстыми и прочными спицами колеса, — праздник — вроде как его осью, а обод — это ельник вокруг Ялани и все остальное за ним, за ельником.

1

Вчера, затемно уже, забегала Сушиха и просила прийти заколоть поросенка, так что сегодня Фанчик и Сын Фанчика поднялись рано. Заправив постели и помывшись в остывшей за ночь избе, отчим и пасынок истопили печь, вскипятили воду, заварили чай и — все это молча — сели завтракать. Капусту с хлебом понужай, че голый кипяток дуешь, — говорит Фанчик. А он, Сын Фанчика, поглядывает в синь маленького утреннего окна, смотрит затем, как отчим пальцами всовывает в свой ущербный рот квашенную капусту, и помалкивает: серьезный он, Сын Фанчика, парень. Ладно, — минуты через две говорит он, — ешь сам, мне не вкалывать, да и спросонья-то — не лезет. И минуту спустя, от горячего морщась, добавляет: на

санках кататься и с чаю, небось, не ослабну. А потом — и видно, что вот, только что вспомнил — говорят: а к Бараулихе? — и глазами на отчима. А Фанчик справился с капустой, запил кипяточком и отвечает: если ^Вуспею, то и к Бараулихе заявимся, а если и там обернусь, тогда к Марышеву зайдём. Нет, — говорит пасынок, — Марышев тебе нынче откажет. А у отчима брови вдруг изломались и за ниточку будто кто их кверху, и вопрос такой тихо: пашто? Он нынче, — говорит пасынок, — белки да колонка до язвы нащелкал, денег короб выручил, хватит, чтобы с Петром или с Илиарем расплатиться. И добавил: вот старая холера! — руки по плечо нет, а по тайге как шайтан куралесит. Ну, дак и хрен с ем, — говорит Фанчик и полуподбородок свой от рассолу капустного да от слюней рукавом гимнастерки вытер, — пусть чухна ему угождает, еслив таким богатеем заделался, мне-то до него, как до пня. Да и ты ему, — говорит Сын Фанчика, — Руку бы лихорадка вместо воздуху-то в рукаве имел, дак и в век бы к тебе на поклон не явился. Да я же сказал: и хрен с ем, с чертом одноруким, — говорит Фанчик и из-за стола вон и уж оттуда, от печки, спиной к ней развернувшись: в Ялани, че уж, парень, яво кроме, Марышева-то, и подсобить некому? А тут, крошки со стола в ладонь сгребя и в хлебницу их сыпав, и пасынок сказал: спасибо, папка, наелся.

И потоптались они по избе, потоптались так: слоняясь — это все потому, что рано еще вроде. А потом Фанчик, в оконце глянув, сунул в одно голенище обмылок бруска, в другое — нож с рукоятью из молодой бересты, а в кирзовую пастушью — на брезентовом, бахромистом от срока выслуги, ремне — сумку медный конш спрятал, а сумку застегнул, конечно. И конечно: туда ее, сумку, на ляжку, как офицер. И взглянули они — отчим и пасынок — друг на друга. И вышли из избы, о тепле забыв. А избу на замок закрывать не стали — что там красть, тепло, разве?

Тут же, у крыльца, Сын Фанчика ухватил за бечеву санки и шагом спокойным за отчимом из оградн. Идут, синева в легкие втягивают, оттого будто и убывает, тускнеет синева. Молчат, вздыхают по синева. И сырой под ногами снег не хру-

стит, только подошв отпечатки усердно множит — любопытны. Такие фотографии пасынку, разглядывает, а отчиму до них дела нет, хотя следы его яловых, подкованных скобкой, сапог — одно заглядение. А от санок бороздки — будто там, у ворот, зацепились за что-то и растягиваются, как ляжки резиновые. Сын Фанчика приподнял санки, пронес их в руках сажень, другую, обернулся... но нет — ляжки будто и тут, с этого конца, успели вцепиться, за что только? — за снег разве. И Бог с ними — забыл про них Сын Фанчика, к окнам внимание обратя. На окна ведь, коли они светятся да еще без занавесок если, трудно не засмотреться, а уж, не приведи Господь — интересное что там, так и вовсе не оторвешься. Но широк шаг человека в яловых сапогах — зевать некогда: налево головой, направо и под ноги успевай зыркать, чтобы не споткнуться — мало ли где ком какой или шалыга. Глаза по окнам, по белым да разноцветным занавескам, а ухо слышит, как во дворах — последний, может быть, час — скотина мычит, блеет и хрюкает.

А гора эта так и называется: Сушихин угор. И венцом Сушихину угору изба Сушихи. И исполосован весь угор вдоль и поперек санками да лыжами, до стерни кое-где, сырой и зябкой. И когда они — отчим и пасынок — дошли до него, до Угора, тогда от синевы уж чуть-чуть лишь сиреневого на западе, над ельником, осталось, дунь — рассеется. А сам ельник светел, будто успел уже — причастился, снег с ветвей за ночь — будто грех с души. И у ворот избы Сушихиной, покосившихся в сторону горы, они — отчим и пасынок — остановились. И Фанчик уж за шнурок ухватился, чтобы задвижку поднять и калитку открыть. А Сын Фанчика смотрит на отчима так: на него будто и будто мимо него, — и говорит: мне, наверно, до сумерек на этом угоре елозить. А Фанчик, шнурок натянув, задвижку поднял, но воротца не распахнул и говорит: пашто это? А пасынок на санки сел, бечеву на коленях аккуратно укладывает, чтобы не свалилась да под полоз не попала, и вниз, под гору глядя, говорит: да вчера в кошелке у Сушихи я две белых заметил. Ну дак че что? — говорит Фанчик. А Сын Фанчика ногами уж оттолкнулся, покатился, но не туда, к оврагу, где круто, а в пологую, длинную сторону, куда

редко кто съезжает, разве девчонка какая малолетняя, потому что скучно на тихой скорости и санки потом потому что упреешь назад тащить.

А потом, часом позже, ребятишки высыпало на Сушихину гору столько — со всего околотка. Визг до синих небес. И все, конечно, на том, на крутом, склоне и нет-нет да и посмеются над ним, над Сыном Фанчика, но тому, так кажется, будто и дела до них никакого, дорогу себе проторил, все дальше и дальше скатываются его деревянные санки. И тучи на юг прогнало, а оттого и похолодало, а оттого и снег подстил, скрипит под полозьями. А на шестах, столбах, жердях и заборах Сушихино двора сорок, синичек и ворон не перечесть и всех их вместе воробьев больше, а в щель между воротами и подворотней собаки, друг на дружку огрызаясь и скалясь, заглядывают. Значит, все там уже произошло, — думает Сын Фанчика, — значит, у него уже горло и гимнастерка в крови, значит, скоро костер разведет и палить будет. А потом выйдет и даст ребятишкам паленные уши и хвост. Мне на людях не вздумай давать — еще че! — сказал как-то отчиму пасынок.

А потом на горе поредело. И его, Сына Фанчика, Сушиха вскоре позвала обедать. Суп у нее там и жаркое из свежанины.

II

Краснела звезда над темным куполом гаража, а возле проходной МТС с телеграфного столба вещал безучастным яланцам что-то о Кубе и об обратной стороне Луны громкоговоритель, когда они — Сын Фанчика и Сушиха — везли на санках Фанчика домой. Фанчик, куражливо бороздя ногами, лежал на спине и, булькая горлом, что-то распевал, а он, Сын Фанчика, то и дело отпускал бечеву, подбегал к отчиму и, обсохшей на шестке в Сушихиной избе, рукавицей обтирал ему подбородок. Навстречу им попадались предпраздничные мужики, радостно и понимающе приветствующие Фанчика, и женщины, те осуждающе покачивали головами: вот, мол, на такого посмотри и мой запьет, не удержится. Кто-то запозднился — только что везет из леса сено, заерзал и крикнул с воза: с празд-

ником тебя, Фанчик, а мне дак все никак. В магазине, в чайной, и в контсре рыбкоопа еще свет — кто-то там есть, хотя время не раннее — десятый час. И по этому чувствуется, что скоро ~~шнадцатый~~ торжество.

Они — Сын Фанчика и Сушиха — завели Фанчика в дом и усадили на кровать. Затем Сын Фанчика проводил старуху, закрыл за ней ворота и, прихватив из-под навеса беремья дров, вернулся в избу. Открыв дымоход и растопив буржуйку, пасынок стал ухаживать за отчимом: стянул с ног его яловне сапоги, выпавшие из них брусек и нож положили на табуретку, расстегнул пуговицы телогрейки, телогрейку снял и повесил на вбитый в дверной косяк костыль, на костыль же нацепил и сумку с ковшиком, после чего укрыл отчима полушубком, а онучи его развесил возле печки. И улегся на свою кровать. Не раздеваясь. А минуту спустя или две отчим вдруг запрокинул голову, чтобы отыскать пасынка глазами, и забормотал:

— Еслив я, парень, подымусь и направлюсь к тебе с ножом и ковшиком да по шее или по голове начну поглаживать, ты уж не робей тут, а ори благоматом да лягай меня шибче в рыло, по подбородку-то, чтобы очухался да очурался: мало ли какая пакость мне привидится, в башку-то хмельную мало ли че худое ни забредет. Ты только не усни, парень, а завтра уж я... завтра уж моя очередь...

— Ладно, ладно. Сколько тростить об одном и том же. Знаю я, — не оборачиваясь к отчиму, отвечает пасынок. — Спи давай. Завтра к Бараулихе идти. Да, может, Бог даст, еще кто подвернется, если с ног раньше не свалишься, как седня. Нож-то, не бойся, когда заснешь, я припрячу.

Так, с запрокинутой головой и засыпает Фанчик. Руки во сне его подергиваются — сжимают пальцы потную рукоять ножа, кадык его мечется между грудью и подбородком, шевеля отаву давно небритого горла, — пьет сонный парную кровь. А Сын Фанчика слышит, как спит отчим, и смотрит в незазанешенное окно на большую рубиновую звезду. Но как-то недолго: затихает скоро слышимый едва рокот электростанции, в избе и во всей Ялани гаснет свет, и пропадает в съевшем ее мраке матерчатая звезда. Кем воскреснет Сушиха — старухой или девкой? — думает Сын Фанчика, не отрывая взгляд от

потемневшего без отражения лампочки оконного стекла. Истомин, тот, конечно, воскреснет милиционером, — думает Сын Фанчика. — А кем же еще? Лучше всего, — полагает Сын Фанчика, — воскреснуть и не старым и не малым, чтобы на велосипеде, ногами доставая с сиденья педали, ездить. Да, ребристые, резиновые ручки. Да, блестящий руль. Да... и тут уж вроде как катится к нему, на него, на Сына Фанчика, огромное велосипедное колесо, осью у которого центр звезды, лучами-спицами — Петр, Илмарь, отчим да кто-то еще, а ободом — будто ельник и... И набегает на него накатанная за день саночная дорога и... И подрагивают его руки — ввалив санки на спину, обхватывает он руками полозья и раскидывает руки в стороны, и... И в мелких судорогах его ноги — будто тяжкий крест — руки раскинув — несет он, восходя в гору, и... И ощущение большого праздника: ма-ма, ма-ма...

III

Подморозило. Подстыл снег. Спит Сушиха и слышит будто, как он скрипит. Спит Сушиха и будто видит ссутулившего Христа: заложил руки за спину, бродит возле Фанчиковой избы и напевает:

В ельнике тихо летает сова.
Старая ель подбирает слова:
Скрып-скруп-скрап-па-па...
В сенях холодных озябла доха.
Пес уволок со двора-потроха.
Сушиха, Сушиха-ха-ха-ха-ха.

Сушиха открыла глаза, пробормотала: вот дура, мяса-то наелась, — перевернулась на другой, правый бок и уснула.

Глава 5

И здесь, в Ленинграде, подмена моя чуть ли не адекватна: комната моя — моя Ялань. Выбраться из нее, выбраться за пределы Зелениной или — в Центр, скажем на Невский, для меня то же самое, что съездить обуденкой из Ялани в Бородавчанск. Я задыхаюсь, у меня распухает голова, я наспех

делаю то, ради чего выехал, сажусь в автобус /а то и пешком/ и возвращаюсь назад — в комнату-Ялань. Я здороваюсь с ними. Я с ними долго говорю. Я провожаю их взглядом. Я их люблю.

Мне стыдно порой перед бабкой-соседкой за то, что я не глухой, как она. Мне совестно иногда перед Юрой за то, что я не гомосексуалист и никогда, дай-то Бог, им не стану. Укоры вины испытываю я, стоя в очереди за сыром, за молоком, за ~~премиум~~ чем угодно, перед теми, кто занял после меня. Сквозь землю мне хочется провалиться, когда я нахожусь среди родственников или близких, у которых кто-то умер. Я устаю от себя, от вечного чувства вины и неловкости. Я ненавижу себя. Но есть тот пик усталости и ненависти к себе, когда смерть, моя собственная или кого-то из самых любимых, смерть вообще, уже не пугает, она представляется необходимым сном. Она и есть сон, который необходим.

Да, да, зеленоокая, да, странна к тебе моя любовь. Опускаю тело, удовлетворяю страсть, но нет успокоения, умиротворения нет, нет той усталости, которая приходит после доброго труда — я снова полон и страсть моя сильна. У перегревшегося мотора это называется так: разнос.

=====